

Священник Николай ТОЛСТИКОВ<sup>1</sup>

## СУДИ БОГ

### 1

Лука опять перся, как с гранатой под танк. Какая уж местная язва придумала такое сравнение, но была она все-таки права не в бровь, а в глаз: одень на Луку вместо закопченной грязной «робы» драную солдатскую форму — и наезжай на него кинокамерой на здоровье, никаких актеров не надо!

Улочка сбегала круто под горку, и кривые, колесом, ноги мужика не справлялись со стремительным спуском, все норовили за что-нибудь зацепиться — Лука, пролетев ныром, пропадал во взметнувшемся облаке пыли. Скрежеща зубами, он долго раскачивался на четвереньках, пытаясь подняться, наконец, ему удавалось сесть на задницу. Ворочая очумело белками глаз, резко выделявшимися на черном, в несмываемой угольной гари лице, он угрозливо мычал. Встав на ноги, мотая безвольно из стороны в сторону осыпанную щедрою сединою башкой, Лука правую руку держал за спиной вытянутою, зажав мертвой хваткой в ней горлышко посуды, чудом сберегаемой при падениях.

Таким макаром Лука добирался до крайних, стоявших друг напротив друга на речном берегу домов и, прежде чем вильнуть к своему и ввалиться бесчувственным кулем в калитку, поворачивался к соседнему. В полубезумных остекленелых глазах мужика вдруг проскальзывало вполне осмысленное выражение, злое и ехидное; Лука, вытанцовывая на кривых своих ногах, поворачивался и выставлял на обозрение соседу тощее гузно и, довольно гогоча, хлопал по нему ладонью.

— Послал же черт и родню и соседей! — Иван Никанорыч Худяков солено ругался и захлопывал окошко. Мог бы сделать это раньше и цыгарку, не досмолив, бросить, но регироваться и перед кем! Еще подумает, что струсил...

Лука появился на Старой улице не так давно. Еще жива была полоумная бабка Зоя, как оказалось, его родная мать; до пятидесяти лет держала его за дорогую кровиночку, усыновив, Зоина бездетная сестра. Приемный же папаша после ее смерти присутствие Луки не вытерпел и дня, выгнал с треском, вдобавок чужую старуху привел. Лука тут и вспомнил про мамочку...

Говорили, что он был когда-то красивым парнем, от девок не было отбою, но служить попал на подводную лодку и, когда возвратился в форсистой морской форме, высокий, статный, выявилась одна заковыка. Девки, а пуще молодые разведенки ринулись к нему гурьбой; бабенки побойчее норовили затащить морячка в постель, и... ждало их разочарование. Потом уж, много погодя, иная из самых страстных с нескрываемой застарелой обидой ругала его при встрече мудреным иностранным словом, и поскольку не каждая это словцо могла правильно произнести — чаще вслед Луке летела такая похабщина, что он, бедный, горбился, старался вжать голову в плечи, и пускался прочь да дальше чуть ли не бегом.

Лука крепко пил, валялся под заборами, по-стариковски съежился, глубокие морщины грубо прорезали его лицо, в одной грязной «робе» ходил он в будни и в праздники, таким и прибился под крылышко к родной маме...

Дом себе дед Ивана Никанорыча ставил хоть и возле самой реки, но на сухом взгорке, а вот свояк его, перевезя из деревни большущий пятистенок, взгромоздил его напротив худяковского прямехонько на «ключи»: из кожи вон — лишь бы родственничка перещеголять.

Прокатилось времечко; дом, теперь Ивана Никанорыча, в заботливых руках стоял себе по-прежнему, хозяин его «вагонкой» обшил и покрасил в нежный лазуревый цвет,

<sup>1</sup> Николай Толстикова так подписывает свои произведения, будучи священником (прим. ред.).

а свояков пятистенок, подтачиваемый родниковой водичкой, исподоволь завалился на передние углы, будто набычился на ухоженного соседа; просел в нем пол, отчаянно дымили разщелившиеся печи, в пазах стен то и дело выползал куржак плесени. И в огороде, сколько бы ни сыпали на гряды песку, «ключи» неугомонно пробивались на поверхность.

Запыхтишь тут завистливо и злобно на месте Луки, если еще и руки не из того места выросли. К тому же на отвалившемся от дома крылечке встретит сидящая на ступеньке и беззаботно напевающая полоумная мама Зоя:

*«Шел я лесом, видел чудо,  
Чудо, чудо, чудеса!  
Сидит девка на березе,  
Ж... шире колеса!»*

Кабы только это!

...Тетка Зоя в молодости была криклива и сварлива, а в зрелых годах — еще пуще. В соседские окна она могла кричать исступленно, неистово, до саднящей горло хрипоты, даром что и затворены они плотно, и супруги Худяковы сидят смиренно, зажав уши: высунься, начни лаяться — еще хуже будет.

Вон Зойка, ведьма ведьмой, космами растрепанными трясет, кричит на всю улицу:

— У меня мужик на фронте честно голову сложил, а ты, фашист гребаный, в плену всю войну отсиживался, задницу немцу лизал!

Иван Никанорыч, чтобы не слышать этих ранящих слов, еще крепче, чуть ли не до звона, давил ладонями на ушные раковины: знает, стерва, где больное, не зажившее с годами место, норовит ударить на раз, под дых.

И досадила-то ничего: Зойкин сын, оболтус Сашка, залез в огород, и словил его Иван Никанорыч, напихал ему, матерящемуся на чем свет стоит, крапивы в штаны. Потом было пожалел парня, время послевоенное, голодное, а тут началось...

Сашка, почесывая место пониже спины, вышел на подмогу мамаше, принялся бухать камнями по воротам обидчика.

Потом и пошло-поехало: чуть мама Зоя в ругань, так и сыночек примчится камнями ворота обстреливать. И тоже кричит вместе с мамашей:

— Фашист!

Худяков от еле сдерживаемой ярости скрипит зубами да сидит неподвижно, глядя в испуганно-молящие глаза супружницы. Может, и выскочил бы надрать мерзавцу уши, кабы не ходил отмечаться каждую неделю в отделение милиции как бывший военнопленный. Сдержался даже, когда Сашка, заманив к себе верного дворнягу Шарика, задушил его и с удавкой на шее выбросил посередине дороги перед худяковским домом...

Отслужив в армии, недоросток Сашка поокреп, раздался в плечах, но росточком почти не прибавил, и прочная детская кликуха — Окурочок — так от него и не отстала. Камнями хоть, слава Богу, перестал соседу в ворота пулять, встретив на улице, воротил заносчиво в сторону рыло.

Было с чего. Работать Окурочок устроился в милицию: Худяков благодарил судьбу, что после смерти Сталина туда хоть отмечаться теперь ходить не надо — представить жутко, какие бы от Сашки козни претерпеть пришлось! Сосед лихо подкатывал к дому на потрепанном, с залатанным «шалашом» брезента газике, долго, надувшись, похаживал около машины, бахвалясь новенькой милицейской формой, и, уж когда мать опять лаялась с Худяковыми, показывался на крылечке, важно и выразительно прокашливался, и мама Зоя без промедления умолкала.

Вызналось, конечно, потом, что Окурочок состоял в милиции не ахти каким важным чином, всего лишь водителем, да и козлик его часто ломался, так что приходилось Сашке, сбросив китель и забыв про «фасон», задиравать крышку капота и копать в движке.

Через это-то все и стряслось...

Дочку, родившуюся слабой и болезненной, супруги Худяковы берегли и лелеяли, только что пушинки не сдували, да разве углядишь за пятилетним ребенком! Как она оказалась со своими игрушками в куче песка на дороге?.. И тут же Сашка возился с газиком, потом, видимо, на радостях, что починил, заскочил в кабину и почему-то дал задний ход.

Навсегда, до смертного часа запечатлелось в памяти Ивана Никанорыча: и белокурые локоны, рассыпанные по личику дочки и быстро вязнущие в застывающей крови, и перемазанное песком и грязью синенькое платье на изуродованном тельце, и вскинутая тонкая ручонка с расставленной, будто для защиты, ладошкой. Хотелось верить, что в страшном сне нес он домой дочку с запрокинутой назад, как у подбитой птички, головкой, под высокими кладбищенскими елями видел свеженасыпанный маленький холмик. Помнил — в плену, когда несколько бедолаг, вместе с ним за попытку к бегству запертые в карцере, ждали расстрела, он, юнец еще, вдруг ощутил жгучее желание погладить ладонью по мягким волосенкам то ли дочку, то ли сына, не родившееся еще от него дитя, и когда сказал кому-то об этом, тот человек не удивился, лишь покачал согласно головою, сам страдая от последнего предсмертного и невыполнимого желания.

После войны жена Клава таилась до поры, боялась сказать молодому мужу, что надорвалась на лесозаготовках, но, слава Богу, все обошлось...

Очнулся от тяжелого кошмарного сна Иван Никанорыч в зале суда — Сашку оправдали: дескать, не чаял, как задавил, сам ребенок виноват. Худяков, взглянув на довольное ухмыляющееся лицо Окурка, сдавленно простонал и выбежал из зала.

«Нет, не будет он, гад, небо копытить да лыбиться!» Как рассчитаться с Сашкой, Ивану Никанорычу взбрело на ум сразу же.

Окуроч, как ни в чем не бывало, по-прежнему подруливал на газике домой обедать и опять, задрвав крышку капота у машины и выставив нетощий зад, ковырялся в моторе.

Иван Никанорыч, поглядывая из окна на соседа, поглаживал приклад охотничьего ружья. Раньше, случалось, баловался в лесу по мелочи: тетерок пострелять, рябчиков. Ружье было еще барское, с гравировками, реквизированное покойным отцом-активистом из какого-то окрестного имения и без надобности провалявшееся на чердаке многие годы.

Худяков нашел пару патронов, один, помеченный, с пулей-жаканом, заслал в правый ствол; левый зарядил патроном с картечью. Сухо-деловито клацнул затвор. Иван Никанорыч, чувствуя прихлынувшую к вискам кровь, напрягся, как перед прыжком; мушка промеж ружейных стволов, положенных на подоконник, плясала перед глазами.

Вон он, Сашкин широкий зад, вываленный из-под капота! Горячий жакан просадит Сашкино жирное тело насквозь и вышибет, расплещет по грязным машинным закоулкам его мозги!.. Иван Никанорыч по-детски крепко зажмурил глаза, но дрожащим непослушным пальцем спустил левый курок, вывертывая вбок, в сторону ружья и оглохнув совершенно от грохота выстрела.

Он даже не слышал, как пронзительно, по-пороссячи, заверещал Сашка, видно, паратройка картечин все-таки влетела ему в задницу, — задрвав дымящиеся стволы, повернулся и, елозя спиной по простенку, сполз на пол, невидяще уставясь на появившуюся на пороге горницы жену.

Она стояла какое-то время непонимающе, потом с ревом повалилась к ногам мужа.

## 2

Худяков отправился «топтать зону», а Сашка, залечив ранения, женился вскоре. На преподавательнице. Стройная, с гладко зачесанными назад черными волосами, школяров она строжила почем зря, и на уроках у нее самые хулиганистые безмолвствовали, муха пролетит — слышно. Встречая родителей своих учеников, Раиса Яковлевна здоровалась свысока, задирая остренький носик и хмуря тоненькие над светлыми холодноватыми глазами выщипанные бровки. Уж как такую цацу улестил кривоногий опилыш или опеноч, соседи крепко недоумевали.

Сашку из «органов» вытурили за пьянство; где потом он только не работал: и городской бани начальником, и техником-озеленителем, и завхозом, и еще леший знает кем. Девки и молодые бабенки, ведая про его шабутной характер и совершенное смертоубийство — о задавленной худяковской девчужке в городке помнилось долго, — старательно обегали, отрещивались, как от нечистой силы. Ему бы век вековать в холостяках, кабы в соседнем доме не сняла комнату приезжая учительница.

Окуроч, приодевшись во все лучшее, с самым деловым видом, выразительно по-

кашливая, забегал вдоль изгороди, то собираясь таскать дрова, то позвякивая пустыми ведрами. Учительница же, сидя у окна за проверкой тетрадей, носик свой востренький в Сашкину сторону не воротила, как и не существовало докучливого соседа вовсе. Тогда Сашка приволок домой из клуба, где последнее время туждался «оформителем», малюга на афишах названия фильмов, подрамники с холстами, расставил их в огороде и принялся, так сказать, за дело. Дескать, я вам, дорогая учительша, тоже не хухры-мухры, а гражданин с художественным вкусом.

Раиса Яковлевна удостоила, наконец, Сашкины упражнения беглым взглядом из-под стеклышек очков, нахмурилась и вдруг окликнула его:

— Мужчина, извините, но вы в слове допустили грубейшую ошибку!

Сашка, отвернувшись от афиши, где с нарочитой сосредоточенностью выводил длинное название какого-то фильма, малость смешался от долгожданного внимания к себе:

— Где?

— Да вот там, там!

Так, слово за слово, разговорились, и вскоре Окуроч, подкараулив, провожал учительницу от школы домой. Правда, не под ручку или же вовсе облапив за плечи, а подпрыгивая бестолково рядышком с ней, шагающей с независимым видом.

Но на то слыл Окуроч шалопутом! Заманив Раису Яковлевну в компанию, он сумел «накачать» ее, непривычную к местным дозам питья, до беспамятства и, утащив на веранду, совершил там свое дело. Вроде и слышал кто-то возмущенные крики, но сунуться в веранду побоялся: еще с Окурочком этим связываться!

Жить они стали, как все в городке. Сашка прохаживался со своей женщиной теперь, не притрунивая следом, а подставив ей согнутую крендельком руку, старательно выпячивая пузцо, и не с мятой, как прежде, с перепоею рожей, а прилизанный, чисто выбритый, слегка взбрызнутый одеколончиком.

Через положенное время родилось дите — мальчик, и довольная баба Зоя, катая вунка в коляске, даже перестала затевать свары с соседями.

Обзаведясь семьей, Сашка посолиднел, пора — плешь по затылку расплзлась, но страсти-страстишки остались прежними: злопыхать на земляков, вредничать им и, чтоб такое лучше удавалось, подзаправляться регулярно водочкой. Через нее, горячую, Окуроч чуть не пропал...

Жена, взяв с собой сына, уехала попроведать больную тетку. Сашка, почуяв волюшку, ушел в загул. Он и раньше-то несвободой особо не тяготился, а тут не один день кряду...

Пробудившись среди ночи с пересохшим горлом и трещащей головой, Окуроч кое-как добрал до стола, но в чайнике было пусто, ни капли и в ведрах на половошнике, глоток же воды вперемешку со ржавчиной со дна перевернутого рукомойника жажду не утолил. Сцапав ведра, Сашка поплелся на колодец...

Баба Зоя проснулась от холода: в неприкрытую дверь выдуло всю избу. Долго непонимающе шарила взглядом по горнице: свет включен, а сынка не видно. Встала, заглянула на кухню, сразу заметила пропажу ведер — утвари-то не лишка и, кутаясь в платок, вышла темным сенником на крыльцо.

Ветер хлопал незапертой калиткой, крутил вихри поземки, злобно бросил пригоршню колючих снежинок бабе Зое в лицо. Она еще постояла на крыльце, покричала Сашку, продрогла, но все же сердце подсказало куда идти. Переметенную пургой тропинку к колодцу баба Зоя нашла без труда, хоть и ветер норовил свалить с ног, побрела, опираясь на батоги, и вскоре увидела бугор посреди тропы, оказавшийся заметным снегом Сашкой. Уж какая сила помогла старой матери затащить бесчувственного сына в дом: Окуроч с виду не богатырь, но веса в нем — что в кабане порядочном. Баба Зоя, переводя дух, оставила его лежать на полу под порогом, завалить на кровать не было моченьки. Пооттирала еще снегом белое лицо, заоченелые руки и, когда Сашка замычал, устало привалилась к теплой стене русской печи...

Утром Сашку отправили в больницу, и вернулся он оттуда без обеих кистей рук, ладно что ноги тогда обуты в валенки были — уцелели. Ему изготовили протезы, но Окуроч невзлюбил сразу эти искусственные руки, ходил, пряча в карманы культи, расщепленные до локтя, как у рака клешни. Сделался он слезливым, в компании в какой-нибудь кочегарке налезал широко распыленным ртом на стакан, лихо опрокидывал,

перебросив потом порожний через плечо, чтоб мужики ловили, закусывал, черпая из миски ложкой, привязанной резиновой лентой к культе, и распуская нюни. Раньше мужики, зная его зловредный характер и «халявные» замашки, могли и по шее накласть, теперь же терпеливо сносили все от пьяневшего мгновенно Окурка — и то, как он бился головой и культиями об стол, размазывая остатки немудреной закуски, и то, как поливал всех и вся матерными словами.

«Сам, сам!.. Никто тебе не помогал!» — вслух не говорили, думали. И домой Сашку доволакивали: хоть пуля в одно место дважды не бьет, да кто знает...

Попрочухавшись, Сашка переключался на мать:

— Зачем и спасла, дура старая?!

Жена как-то подействовала на него, не растерялась, надоумила учиться в местной профшколе на бухгалтера, может, и свела сама. Сашка, вгрызаясь в гранит науки, стал попивать реже, ходил на занятия с полевой «командирской» сумкой на тоненьком ремешке через плечо. Правился и, как прежде, поднимая кверху, будто принюхиваясь, картофелину носа, пытался напустить на себя деловой вид; встречные же не подсмеивались, а жалостливо лишь отводили в сторону глаза...

В свою «учебку» и обратно домой Окурка бродил через реку по шаткому узкому мостику. Летом речка пересыхала, превращалась в затынутый ряской и тиной ручей, но в половодье разлилась плесом до крайних домов на берегу, несла на стремнине льдины, коряги, доски, всякий мусор. Вода почти доставала хрупкую, ненадежную ленточку настила мостика, часто какая-нибудь кокора или льдина шаркала по ее низу, норовя разломать, унести за собою.

Всякий такой удар приводил в восторг стайку мальчишек-первоклашек, повисших на еле держащихся перилах. Окурка еще издали приметил красную лыжную шапчонку сына, щуря глаза, ругнулся: куда бабы смотрят! Ребятишки все-таки увидели его раньше, потому как резко обернулись в его сторону, и... что тут произошло — с визгом метнулись на берег и там бросились врассыпную. И тотчас до слуха Сашки донесся не то захлебывающийся крик, не то плач, очень знакомый. Сашка ускорил шаги, побежал, успев ухватить взглядом мелькнувшую из воды подле моста красную шапчонку. Он с протяжным воем бестолково забегал по настилу; шапчонка сына ярким пятном еще раз вынырнула из серой свинцовой воды. Парнишка даже вскинул руку, будто надеясь за что-нибудь ухватиться. Окурка, сбив брюхом хлипкие перила, бухнулся в воду, на мгновение оцепенев от жуткого холода, отчаянно забарахтался, вытолкнутый на поверхность, отплевываясь, жадно захватал ртом воздух. Сына больше не было видно. Вмиг намокшая одежда потянула Окурка ко дну, он забил что есть мочи по воде своими культиями, теряя силы и с ужасом понимая, что сыну-то помочь он ничем не сможет.

Сашку успели вытащить живым прибежавшие на шум мужики: в речке в этом месте было не так глубоко. Весть о происшествии тотчас разнеслась по Городку.

Иван Никанорыч, стоя у окна, смотрел на Сашкин дом, зябко подрагивая плечами. Когда он обернулся к окликнувшей его жене, на глазах его блеснули слезы.

### 3

Окурка и после гибели сына продолжало «добивать».

Внезапно загуляла женушка Раиса Яковлевна. Всегда такая серьезная, недоступная, вся из себя, сняв черный траурный платок, стала она иногда приходить на уроки раздумывавшаяся, с блестящими глазами, потом и в компашку гуляющих родительниц-разведенек затесалась. Сашка ворчал, ругался, плакал — она его не слушала, поглядывала лишь из-под стекол очков насмешливо-презрительно. А Окурка тихий сделался, плечи опустились, голова посивела — старик стариком.

Собрался он за советом к Раисиной тетке, единственной ее родне. Хотелось дорогой развеяться, поплакаться хоть кому-нибудь, мама Зоя мужских слез не терпела и не воспринимала. Но и тетка Раисы, восемьдесят с лишком, Сашку разочаровала и озадачила: «Будь мужиком!» — и весь сказ.

«Пить, что ли, с ней вместе? — раздумывал всю обратную дорогу Сашка. — Да ведь не будет, на стороне ей интересней».

Дома Окурка ожидало убийственное и презрительное сообщение мамы Зои:

— Твоя-то цаца у «черных» навроде подстилки.

Раиса уж не один раз не ночевала дома. Ее новые подружки-разведенки нацелились на бригаду горбоносых шабашников, в своих кепках-«аэродромах» приехавших строить коровник. Темпераментных «нацменов» бабенки разобрали по квартирам; Раиса Яковлевна приглянувшегося кавалера привести к бабе Зое на постой не посмела и, видимо, у кого-то из знакомок сняла уголок для ночей утехи и страсти.

Сашка заметил их еще издали... Затаился за изгородью и разглядывал — она, без очков и оттого кажущаяся много моложе и красивее, легко шагала, облапленная за талию усатым смуглокожим красавцем, с радостным возбуждением смотрела на него и, похоже, ничего больше вокруг не замечала.

Окуроч, распаляясь яростью, тихо взвыл, но броситься на широкоплечего, мускулистого супостата не решился — плевком зашибет. Эх, юные б годы, силенок если маловато, так сгрэб бы уразину! А теперь... Сашка тоскливо воззрился на свои культы: и штаны не расстегнуть без посторонней помощи.

Раиса с ухажером свернули к домику одной из родительниц; там, наверное, было пристанище, а Окуроч, ссыкая гнилушками зубов, удрученно поплелся домой...

Раиса совесть поимела: прослышав о возвращении муженька, пришла на другой вечер ночевать домой. Баба Зоя, оставляя супругов наедине, едва разминулась с невесткой в дверях, отправилась в гости к сестре. Раиса разделась, в легкой «ночнушке» забралась на кровати под одеяло и отвернулась к стене.

«И тут чистенькой хочется быть, сволочи... И тогда не прозеворонила бы, так парень-то не потонул!»

Сашка шустро, но бесшумно, по-тараканьи, подбежал к ней и, как боксерскую тушу, принялся молотить культями. Раиса кричала страшно, умоляла, но это Окуроча еще больше осатанило; содрав с жены сорочку, он еще и по безжизненному телу бил долго, до изнеможения, пока отшибленные культы не заныли.

Ударив локтем по выключателю на стене, Сашка при свете взглянул на измолоченное тело с начинающими уже стыннуть вытаращенными глазами и закушенным зубами языком, жалобно заскулил, руки и ноги сделались ватными от страха. Весь безумный дьявольский запал сгорел, Окуроч трусливым нашкодившим щенком заметался по комнате. Нашел веревку, хотел сделать петлю, зубами начал вязать узел: искусственные руки куда-то запропастились. Ничего не получалось, да и Сашка особо не старался; бросив затею, он захныкал, стараясь не глядеть в сторону кровати. Было жалко себя...

#### 4

Спасскому монастырю под Городком досталось. В давние времена, в польско-литовское нашествие, его не смогли взять приступом разъяренные воровские рати; не в столь же отдаленные — коммунарские — без всякого штурма одолел его один местный ярый активист, свой русский, Никаха. В годах мужик, не безусый глупый парень, но бегал на полусогнутых с оравой городковских голодранцев за хмурыми сосредоточенными «чернышами», облаченными в кожаные тужурки, услужливо подсоблял им вытаскивать из монастырских храмов ценности; потом, клацая затвором винтовки, сгнал в телегу остатних, не сумевших по причине немощи уйти из обители монахов и вышагивал неторопливо, закинув «винтарь» на плечо, до ближнего леса, где бедняги навеки и упокоились.

Когда погнали на Север раскулаченный люд и Спасское стало пересылочной тюрьмой, Никаха уже сам похаживал в скрипучей блестящей коже и с наганом на боку, хозяйски поглядывал на обкорнанные, без крестов, главы собора, где за толстыми стенами страдали, томилась и встречали свой последний час несчастные. Никаху подхалимы величали теперь Никанором Ивановичем или «товарищем Худяковым».

Тут и случилось происшествие: кто-то из охранников, видимо, рассчитывая чем-либо поживиться, проник в маленькую церковку иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» и пулей вылетел обратно:

— Там Богородица на иконе плачет кровавыми слезами!

— Заткнись, придурок! — Никаха грозно одернул трясущегося подчиненного и тут же приказал выкидать из церкви на двор все иконы.

Скоро на паперть набросали их порядочную груду, Никаха, черкнув кресалом, подпалил ее и даже спокойно прикурил от заплывавшего по древнему лику огонька: «Смотрите, сыкуны, как надо!»

Пламя вмиг опряло все: в жутком полыхающем костре корежились, обугливались, пропадали то суровые, то благостные святые лики; кучка Никахиных приспешников, прикрываясь локтями, испуганно отпрянула от огня; из собора, где кто-то из узников сквозь узкое, как бойница, окно разглядел творившееся святотатство, донесся горестным стоном многоголосый плач. Никаха, похаживая возле тепнины и подпинывая головешки, вдруг хлопнул ладонью себя по шее, будто комара придавил — из взметнувшегося снопа искр одна, видать, ожгла его; он, оскалив зубы в недоброй ухмылке, засмеялся.

Что творилось в закопченной его душе — кто ведает?..

Странная эта ухмылка уродовала потом Никахину рожу чаще и чаще; стал он заговариваться, дальше — больше, родную избу пытался запалить. В конце тридцатых Спасское превратили в юдоль для умалишенных, и Никаха оказался в их числе...

Иван Никанорыч помнил, каким видел отца в начале войны перед своей отправкой на фронт... В монастырском дворе санитар указал ему на кучку людей в одинаковой мешковатой одежде, слоняющихся бесцельно в загородке, обнесенной сеткой.

— Никаха!

Но никто не отозвался санитару, и тогда он, ражий детина, шагнув в загородку, выхватил оттуда невзрачного, стриженного под «ежик» мужичка, цепляя за ворот, подвел его к Ивану. Мужичонка с морщинистого лица по-рачьи пучил глаза, но как-то пусто глядел перед собой, будто ничего не видел, и то ли мычал, то ли просто шлепал толстыми губами. Иван с некоторым даже трудом узнал в нем отца: как Никаху сюда посадили, сын не проводывал его. И так ровесники дразнили дураковым отродьем, а старухи плевались Ваньке вслед: «Иродово семья!» Отца еще первое время спроваживали домой, но он неизменно вытворял что-нибудь «веселенькое» и теперь в дурдоме прописался на постоянно. Он тоже не признал сына:

— Ты из какой деревни? Где-то я тебя видал?

Никаха скрюченной ладошкой цапнул Ивана по щеке. Тот отпрянул, а отец захохотал.

— Я проститься пришел, на войну отправляют, — Иван, вжимая голову в плечи, отвел глаза в сторону. Мать заставила — чуть не добавил, но прикусил язык: хоть дурак, а вдруг поймет. Никаха резко оборвал смешок, спросил, ни к селу ни к городу, про одного бывшего активиста — своего растоварища: — В тюрьму забрали, — ответил Иван. — Враг народа.

Спросил про другого — того, по слухам, расстреляли.

— Вот видишь, а я здесь живой! — шепнул он быстро на ухо Ивану, упирая на слово «здесь», и кивнул на приоткрытые ворота: — А там бы мне — каюк! Спасся я!

Иван изумленно смотрел на отца: показалось, что рядом совершенно здоровый человек, прежний, — взгляд осмысленный, испытующе-хитроватый, да и говорил отец без ужимок и подхихкивания. Но, кажется, тогда Ванюха все-таки ошибся: отец внезапно захохотал да и еще принялся часто креститься на обезглавленный им же собор:

— Спасся, спасся! Ха-ха-ха! — затараторил, будто считалочку.

Подошел верзила-санитар, мигнул: мол, прощайтесь, постоял немного и опять за ворот потащил приплясывающего Никаху в загородку. Иван, уходя, оглядываться не стал, не думал, что видит отца последний раз...

...Кавалерийскую часть, состоящую из новобранцев, бросили в прорыв; это был для Ивана первый и последний бой. Оружие — у одного взвода шашки, у другого — просто палки, и так через раз. Батог Ванька выбирал поувесистей: испытаем, крепка ли у немчуры башка?!

Вместо пехотной цепи в поле навстречу разворачивающейся в атаку сотне из перелеска выскочила одинокая мотоциклетка, протрещала парой длинных очередей из пулемета и юркнула обратно.

Конная лава вытаптывала поле; Иван, раскручивая над головой палку, разевал в крике рот, когда из ложбины впереди выкатились стальные коробки. Топот копыт, крики кавалеристов стремительно сближались с деловым рокотом танковых движков, ляз-

гом гусениц; отворачивать было поздно.

Иван успел заметить возле башни одной из коробок дымок — земля перед мордой коня вдруг взметнулась, черной тяжелой волной ударила Ивану в лицо, ослепительный огонь, наверное, выжег глаза, грохота разрыва Иван, вырванный неведомой силищей из седла, уже не слышал...

Он очнулся от звона в ушах, сел, потряхивая головой, и с испугом, с омерзением попытался отодвинуть свое враз занывшее всеми косточками тело от полураздавленной, забрызгавшей все вокруг кровью лошадиной туши. Оперся об землю ладонью и тотчас отдернул ее, словно обжегся: четкий след траков танковой гусеницы отпечатался всего в нескольких вершках... Что-то острое ткнулось в шею — Иван, повернув голову, сначала увидел сизую сталь широкого штыка и, подняв глаза, немца, кивавшего: вставай, рус!

Со всего поля согнали малую кучку уцелевших бедолаг, повели и вскоре втокнули в длинную колонну военнопленных.

Иван в лагере с голодухи чуть не помер, больного его едва не пристрелили, за попытку побега в расход только что не «расписали» — Бог уберег, а потом и вовсе увезли куда-то через всю Германию.

Эх, на родной дом хоть бы одним глазком глянуть!

И когда однажды в фольварк, где Ванюха молот зерно на мельнице, вкатили танки с белыми звездами на броне и солдатами-неграми и хозяин — толстый добродушный бауэр-мельник — предложил остаться: «Рус Иван, тебе дома капут, колхоз, Сибир!» — Иван отрицательно помотал головой — теперь хоть ползком, но к дому. Как ползком и получилось, через пяток лет, через советский лагерь, куда отправился, едва попал к своим. И потом — надолго клеймо...

Никаха сына не дождался. Говорили, что перед концом войны он из тихопомешанного сделался буйным, никакими мерами не могли его утихомирить и засунули в палату-изолятор для таких же бесноватых, что размещалась в стенах Спасского собора. Там Никаха долго не наобретался, разбил башку об стену или помог ему кто...

Иван Никанорыч заходил в недавно открытую церковку иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» все чаще: поставить свечку, помянуть усопших, неумело и робко перекреститься. Выйдя потом на паперть перед храмом, где когда-то отец его палил костер из икон, он стоял и разглядывал шершавые стены Спасского собора и пенял отцу, будто живому: «Мало сам взбесился и жизнь свою загубил, так и мне довелось кровных сопель на кулак потерять вволюшку! За тебя в наказание!»

Всем за помин души свечи ставил, только не ему.

## 5

Лука ненадолго пережил свою мать. Оставшись один, он сунулся было обратно к приемному отцу, но тот, крепкий еще старикан, уже обзавелся новой старушонкой, приемыша, которому когда-то, уступив уговорам жены, дал и отчество, и фамилию, безжалостно турнул. Так и не полюбил неродное, просто терпел годами блажь супружницы. Лука прежде отвечал тем же и с кулаками лез, но тут побитым кобелишкой покорно поплелся в холодный нетопленный дом, где и завалился на кровать во всей своей грязной рабочей одежде.

Раньше, упившись, Лука всеми возможными способами передвижения, хоть по-пластунски, ползком, упорно норовил добраться до дому, где ждала его, пусть и полоумная, мама Зоя; теперь же, когда стремиться стало не к кому, недвижимый Лука валялся где попало. Менты его не трогала — нечего взять, шпанята в карманах не шмонали — все равно пусто, и добропорядочные граждане аккуратно обходили сторонкой — проспится и убредет преспокойно в свою кочегарку. Летом к нему не прикасались, но когда подмерзло и закружились густым роем «белые мухи», Луку прохожие тормошили и старались направить к дому.

Однажды Иван Никанорыч едва не споткнулся об него, лежащего возле тропки и уже присыпанного снежком, прошел бы мимо, но — дух не дал! — вернулся, запотоптывался около, с нарочитым небрежением окликая: «Эй, ты! Хозяйство отморозишь!» Лука не издал в ответ ни звука, пришлось его тормошить, а поскольку он лыка не вязал,

лишь бессмысленно тарасил «зенки», и тащить. Как нарочно, не подвернулось ни одного прохожего, кому бы можно было передоверить эту почетную миссию. А может, и лучше, что никто не видел.

Иван Никанорыч волок Луку и ругался: «Жизнь вот так прожить — врагу не пожелаешь! Обморозишься же, дурак, будешь вдобавок и уродом, как братец твой Окурок клешнятый, ни дна б ему, ни покрывки! Околел, говорят, в тюрьге — туда ему и дорога!»

Лука был грубовато доставлен по месту назначения.

Потом, в лютые крещенские морозы, тоже «притрелеванный» в свое нетопленное жилище кем-то из сердобольных земляков, окочился.

Опустевший дом до весенней капели пугающе угрюмо пялил на соседа бельма затянутых куржаком окон; на хату положили глаз шустрые горсоветовские клерки: наследников не осталось — приемный отец Луки, не совладав с новой старушонкой, тоже представился, наследство через положенный срок пойдет в «казну», и за сущие гроши, не упусти момента, можно дачку нехудую отхватить. Но претендент неожиданно вытаял...

Иван Никанорыч из окна увидел, что в палисаднике соседнего дома бродит какой-то незнакомый сторбленный старик с обметанной редким белым пухом головой. Вот он споткнулся раз-другой обо что-то: видать, подслеповат, прижался лбом к углу дома, плечи мелко затряслись.

«Эко, вроде плачет!» — присвистнул удивленно Иван Никанорыч и... перекрестился. Так-то стеснялся, даже самого себя, и в церкви, поставив свечку, крестился торопливо, украдкой, а тут поневоле пальцы сами сложились в щепоть. Незнакомец старик, вскинув руки, ровно оглаживая, провел ими по венцам сруба; рукава фуфаячки задралась, и Худяков вместо кистей увидел расщепленные страшные рачьи клешни. Сашка Окурок!

Мало того, Сашка, отерев рукавом мокрые глаза, заковылял через дорогу. Иван Никанорыч и спрятаться не успел, словно пристыл окаменело к стулику у окна, и Окурок его, даром и подслеповатый, все равно заметил.

— Дорогие мои соседюшки, родственнички мои, Иван Никанорыч да Клавдия Ивановна! Слышал, что вы еще живы-здоровы, откликнитесь! — Сашка говорил елеяно, ласково, плаксиво морщил и без того ссохшееся с кулачок, желтое, как лимон, личико.

Худяков удивлялся теперь, что такой гад может вежливо и уважительно разговаривать; потом вспомнил, что не слыхивал Сашкиной речи еще с его юношеских лет и выражения там были — святых выноси, недаром уши затыкал, а впоследствии Сашка при встрече молча и горделиво воротил в сторону рыло.

Как было не выйти, приманенному таким обращением, из дому; замороженный Иван Никанорыч, медленно переставляя ноги, чувствовал себя сурком перед пастью змеюки.

Окурок с размазанными соплями полез целоваться, попытался облапить своими клешнями, но Худяков брезгливо отстранился. Сашку это нисколько не смутило, предполагая что в гости его вряд ли пригласят, он пристроился на лавочке у забора.

— Ох, ножки мои, ноженьки!.. — застонал он. — Сколь мне перенести пришлось, век свободы не видать, фраером буду, одним и дожил, домотал срок, что мечтал — помирать, так дома!.. Только живым-то в землю не запихаешься прежде времени. А дом-от козлы горсоветовские присвоить хотят, вон и бумажкой с печатью дверь заляпали. Дом мой родной! У матери, видно, «крыша» совсем съехала, раз придурку этому Луке его подписала. Я сунулся сегодня в горсовет, а мне там заявляют: никакой он, мол, тебе не брат, родители, согласно документикам, у вас разные. В суд, говорят, подавай, коли свидетелей сыщешь, докажут если родство, то ладно. Но дело тухлое — да последняя моя надежда. Вот вы с бабой-то своей про все в нашей родове ведаете, кроме вас некому, выступили бы в суде, замолвили словечко! Родня ведь, не чужие мы. А?! Неохота век свой в богадельне средь «урок» кончать, и так до печенок «казенный» дом меня достал!

Окурок талдычил дальше и дальше — какой он разговорчивый, когда приперло, оказался. Иван Никанорович, приходя после нежданной-негаданной встречи в себя, ощутил, как застарелая, казалась порою, уж и забытая, боль ворохнулась в сердце, стала нестерпимо распирать его.

Худяков встал с лавки и грубо прервал Сашкину воркотню:

— А хоть бы ты и сдох в «казенном» доме, глядишь, не пригорбатился бы у нас воздух портить!

Сашка подавился на полуслове; Иван Никанорыч уже прикрывал за собой калитку, когда Окурок разразился диким матом, наклонился и стал судорожно шарить в траве своими культиями. Худяков усмехнулся: «Теперь ты такой, какой есть!» — и задвинул засов.

Сашка, видимо, все-таки нашел камень, но то ли булыжник из его «клешни» выскользнул, то ли не решился им по воротам запустить, только взвыл Окурок, запричитал слезно, с надрывом:

— Иван Никанорыч, дорогой, прости меня, дурака! Не дай погибнуть! Не подсобишь если, руки на себя наложу! Прости!

Он даже ослаб в коленках, упал в грязь на дороге — видел подошедший опять к окну Худяков — и так, ползком, обессилев, убрался в свой двор и там затих где-то.

Иван Никанорыч всю ночь не мог уснуть, повалившись с боку на бок, вставал, курил на крыльце, глазел на звезды. «Как земля такую пакость на себе носит?! — вздыхал и сокрушался он. — И вроде бы бьет и мает ее, эту пакость, по жизни и мучит, но истрепить ее вовсе не может. Почему так?.. Но мне ли, человеку, судить».

Чуть свет Иван Никанорыч убрел в монастырь. Возле церкви иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» всякий хлам, груды битого кирпича, мусор убрали — Худяков сюда приноровился ходить подсоблять трудникам, теперь не только по воскресеньям забегал в храм свечку поставить. Взяться и вокруг облупленной, с кармино-красными пятнами выветренного кирпича громадины Спасского собора чистоту и порядок наводить.

В ранний час даже сторож дрых, его собака затыкала, но, узнав частого посетителя, дружелюбно завилала хвостом. Иван Никанорыч, взяв из потайного места лом, принялся яростно долбить кирпичный завал прямо перед воротами храма: хотелось забыться, утишить все взбаламученное в душе внезапным вторжением в устоявшуюся тихую жизнь давно похороненного Сашки Окурка. И, может, преодолеть растерянность. Ведь когда Сашка, стоя на коленках, умолял заполошно, плакал, все-таки что-то дрогнуло в Худякове, хоть он сейчас и не старался вспоминать об этом.

Скоро он устал, взмок, вдаривая железным «карандашиком», пусть и оведало утренней прохладой, огляделся, куда бы примоститься, и, увидев приоткрытые, обитые листами заржавленного железа ворота храма, решил туда зайти. Сколько уж тут мимо ни ходил в церковь, ни работал рядом, а заглянуть внутрь собора, где отец-безбожник в припадке сумасшествия разбил об стену свою непутевую голову, страшился.

В храме с забитыми досками окнами было сумрачно, шаги гулко отдавались под высокими сводами, как ни старался Иван Никанорыч тише, осторожнее ступать по каменному полу. Весь собор внутри был наглухо, плотно заштукатурен, стены по низу вымазаны краской и пестрели всякими скабресными, выцарапанными недоумками, надписями.

Худяков поморщился, взглянул вверх, туда, где ближе к куполу в верхний ярус незаколоченных окон лились лучи восходящего солнца, и обомлел: из-под свода смотрели на него пристально пронизательные, бездонной глубины глаза Спаса Всемилоостивого. Видно, недавно толстый пласт штукатурки обвалился, явив фреску; осколки его хрустели на полу под ногами попятившегося и торопливо крестящегося Ивана Никанорыча.

— Вот оно, вот оно... — бормотал Худяков. — Кто наказует — тот и милует...

Под вечер, подходя к дому, он обстоятельно обшарил взглядом Сашкино подворье: уж не вздернулся ли где, сердешный, как обещал. Не высмотрев ничего худого, Иван Никанорыч вздохнул: ладно, подтвержу родство Окурка с Лукой, будь что будет. Бог ему судья.